

Э.М. Афанасьева

«ОТЧЕ НАШ...» В РУССКОЙ ЛИРИКЕ XIX ВЕКА

Кемеровский государственный университет

В христианской молитвенной практике «Отче наш...» признается образцом молитвенного слова. Второе его название Молитва Господня связано с евангельским сюжетом Богообщения Иисуса Христа и научения апостолов тайной молитве. Этот сюжет, восходящий к «Учению двенадцати Апостолов», сохранился в евангелиях от Матфея и от Луки. Большинство богословов признают оба текста вариацией единой молитвы. Хотя христианская история знает и другое толкование. Философ и богослов II–III вв. Ориген писал о невозможности произнесения одной и той же молитвы Иисусом Христом как во время Нагорной проповеди, так и в разговоре со своим апостолом после «молитвы в одном месте» [1, с. 151]. Это дает основание для толкования двух евангельских молитв как совершенно самостоятельных завершенных текстов. Комментатор трактата Оригена «О молитве» Н. Корсунский мотивировал традиционный подход к толкованию общей основы двух евангельских молитв следующим образом: «Господь передал молитву два раза – при начале Своего общественного служения (Мф. 6:9–13), и при конце его (Лк. 11:2–4)» [1, с. 68]. Отсылка к евангельскому источнику и история его толкования ставят вопрос о возможной вариативности канонического текста. В христианской молитвенной практике за основу берется молитва из Евангелия от Матфея с небольшим изменением: общественное богослужение практикует славословную концовку: «Яко Твое есть Царство, и сила, и слава Отца и Сына и Святаго Духа», – в которой устанавливается триединство Божественной сути [2, с. 264]. Помимо евангельского удвоения и характера адаптации Молитвы Господней к общественному и частному богослужению необходимо также учитывать ее греко-латинский источник и славянский аналог. Все это создает довольно сложный контекст освоения «Отче наш...» русской культурно-религиозной средой.

Молитва Господня – своеобразный концентрат общечеловеческих ценностей. Она сопровождает жизнь христианина и включается в такие христианские таинства, как крещение, после которого верующий может называть Бога Отцом, и евхаристия, церковное приобщение к телу Христову. В апостольских постановлениях ее рекомендуется прочитывать не менее трех раз в сутки, так что она организует молитвенное настроение верующего в течение всего дня [3, с. 115–116]. В молитвословах этой

молитвой отмечена частная богослужебная практика, связанная с началом нового дня и отходом ко сну. Национально-религиозное сознание не только актуализирует «Отче наш...» как самодостаточный молитвенный текст, но и вбирает в себя многовековую традицию толкования [4], которое в богословской практике имеет цель раскрытия духовной основы молитвенных устремлений человека, а через них – религиозных ценностей христианства.

Поставив вопрос о восприятии культурным пространством евангельского молитвенного слова, прежде всего необходимо осознать архетипные основы данного текста. Открывает молитвенное событие трансцендентальный диалог с Отцом; обращение «Отче наш» актуализирует соборный характер этого диалога. Сакральное мировоззрение включает молящегося в мировые антиномии, организующие ценностные аспекты бытия: небо и земля, Бог и лукавый, жизнь и смерть. Поскольку славословное начало устремлено в пространство абсолютной сакральной значимости – в небеса, – постольку сакральная вертикаль определяет ориентир духовных устремлений, на фоне которых восславляется имя Бога и осуществляется переход от верхнего мира к миру земных ценностей. Земля и Небо, объединенные понятием грядущего Царства Божьего и Его Воли, организуют онтологию молитвенных просьб; их динамика акцентирует иерархичность христианских ценностей. «Частный» характер просьб следует после приобщения молящегося к общехристианским устремлениям к идеальным представлениям о Царстве Божием. Мир земной жизни человека открывается в размышлениях «о хлебе насущном» «на сей день». За эгоцентричным прошением следует расширение возможностей диалогического слова, основанного на христианской идее взаимного прощения. Финал текста онтологизирует само понятие финала как возможности соприкосновения и одновременного преодоления абсолютного зла. Очевидна, с одной стороны, обыденность просьб, их сиюминутная значимость при обращенности к настоящему моменту, с другой – масштабность их осмысления в безграничном пространстве вечности, в контексте христианского богослужения, Священного писания и Священного предания. Прочтение и осознание природы текста способно отразить глубину христианского видения и ведения. В истории толкования на «Отче наш...» очевидно стремление преодолеть повседневную жизненную моти-

виговку просьб о хлебе и долгах. Первое толкование Молитвы Господней имеет евангельское происхождение. В Евангелии от Матфея текст молитвы обрамлен поучением о тайной немногословной молитве: «...ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него» (Мф. 6:8) и пояснением христианской природы просьбы о прощении долгов как прощении согрешений. Подобным образом просьба о хлебе в христианском богослужении связана с таинством евхаристии [3, с. 116] и с представлением о хлебе духовном; хлебе над-сущном, который выше всех сущностей, – как поясняет св. Иоанн Кассиан Римлянин [5, с. 136].

Религиозное миропонимание, сконцентрированное в Молитве Господней, придает евангельской молитве полифункциональный смысл. Именно «Отче наш...» (наравне с Иисусовой молитвой) в христианской молитвенной практике становится текстом, сакральная сила которого проецируется на любые жизненные ситуации.

...

Молитва Господня – текст общеизвестный, но, несмотря на это, очевидно стремление русских поэтов к художественному осмыслению ее природы. Стихотворная история «Отче наш...» получила не только индивидуально-авторскую мотивировку, но и включена в контекст коллективного творчества, часто анонимного свойства. XVIII в., хорошо знакомый с парафрастическими жанрами, оставил пример пародийного осмысления данной молитвы. Ее текст расщеплялся и включался в бытовой стихотворный контекст:

Солдат, как скоро в дом вступает,
Хозяина он призывает –

Отче!

Имение и весь твой дом
Теперь стал не твой уж он –

Наш.

Молчит крестьянин, размышляет
И внутренне его ругает –

Иже еси.

Щастливой век наш перервался,
Помощник нам один остался –

На небеси.

(«Ныне употребляемый саксонских
крестьян «Отче наш». Автор не известен»
[6, с. 206].

Ориентация на общеизвестную молитву, воссоздание ее по правому полю стихотворения и одновременное разрушение ее целостности, создает пародийную ситуацию. Это – эстетический эксперимент, основанный на удвоении текста. Бытовой контекст десакрализует молитвенное слово, способствует его примитивной мотивации в эстетической шутке (не лишенной, правда, кощунственного смысла). Подобный прием, очевидно, был весьма распространен (о чем свидетельствует наличие вариантов

пародийных стихотворений подобного рода) в определенной среде, где молитва являлась основой регламентации повседневной жизни. С.А. Рейсер делает предположение о семинарском происхождении пародии [6, с. 778], однако не исключено и влияние традиций военного фольклора, которому также известно шутливо-ироничное осмысление молитвенного канона. В любом случае речь идет о возможности коллективного творчества или об использовании стереотипов коллективного творчества.

Процесс индивидуально-авторского осмысления природы «Отче наш...» приходится на XIX в., хотя нельзя сказать, что он стал центральным явлением русской поэзии. Здесь необходимо учитывать ряд особенностей литературной эпохи, для которой парафрастические жанры находятся на периферии поэтической системы. Однако нельзя не отметить и тот факт, что случаи переложения молитвенных текстов, единичные для отдельного автора, в общехудожественном контексте свидетельствуют о стремлении русских поэтов к духовно-творческому диалогу с христианской прамосновой сакральной Слова. Поэтическая история молитвы «Отче наш...» связана с именами В.А. Жуковского («Утренняя звезда», 1817), В.К. Кюхельбекера («Отец наш, Ты, Который в небесах...», 1832), А.А. Фета («Чем доле я живу, чем больше пережил...», 1870–1880), Н.А. Добролюбова («Молитва» – «Отец небесный! Да святится!», 13 апреля 1850), К.М. Фофанова («Отче наш», не позднее 1889) и др.

В перечисленных стихотворениях сохраняется основа евангельской молитвы, ее соборный характер, динамика смены славословной и просительной тем, разворачивающихся на фоне сопоставления небесного и земного пространств. Однако интересен факт сознательного изменения сакрального имени «Отче наш», с которым связано не только начало евангельской молитвы, но и одно из ее названий:

- Небесный царь, услыши нас (В. Жуковский);
- Отец наш, ты, который в небесах (В. Кюхельбекер);
- Всеобщий наш отец, который в небесах (А. Фет);
- Небесный отец! Да святится (Н. Добролюбов).

Начало молитвенного переложения, с одной стороны, сохраняет вполне прозрачную ориентацию на оригинал, с другой – формирует «эстетический зазор» между первичным и вторичным молитвенными текстами. И наоборот, в русской поэзии очевидна тенденция существенного переосмысления евангельской природы Молитвы Господней при сохранении канонического варианта имяславского обращения:

Отче наш! сына моленью внемли! («Молитва» Я. Полонского) [7, с. 269].

Отче наш! Бог, в небесах обитающий... («Отче наш» К. Фофанова) [8, с. 107].

Молитва Господня – общеизвестный и самодостаточный текст, поэтому неизбежен вопрос о мотивации авторского обращения к переложению канонической молитвы. По большому счету, религиозное чувство довольствуется оригиналом, поэтому, несомненно, в переложении встанут задачи не только духовно-нравственного, но и художественно-поэтического плана. Поэтому переложение евангельского текста впитывает в себя эстетические доминанты авторского мировидения.

С определенной долей уверенности можно сказать, что для XIX в. поэтический диалог с евангельской молитвой открывается В.А. Жуковским. К 1817 г. относится его перевод стихотворения И.П. Гебеля «Утренняя звезда», в контекст которого включено переложение «Отче наш...». Ему предшествует описание утреннего мира в его астральной и земной ипостасях: раннего появления восточной звезды и утренней работы жнецов. Молитвенное событие вводится как знаковое явление утренней жизни мироздания: «Да чу! И к заутрене звонят» [9, с. 66]. Эмоциональная остановка на характерном для Жуковского междометии «Чу!», звон колоколов, призывающих на утреннюю церковную службу, – создают лирическое напряжение, придающее значимость молитвенному тексту:

Везде молитва началась;
«Небесный царь, услыши нас;
Твое владычество приди;
Нас в искушенье не введи;
На путь спасения наставь
И от лукавого избавь» [9, с. 66].

Поэтика переложения организует не столько воспроизведение, сколько напоминание знакомого текста. Замена сакрального имени позволила в обращении «Небесный царь» сконцентрировать проблематику канонического славословия и первого прошения: «иже еси на *небеси*»; «да приидет *Царствие Твое*» (выделено нами. – Э.А.), – поэтому основу молитвенного события составили просьбы, имеющие двухчастную природу. Сначала говорится об утверждении владычества Бога, затем о духовной жизни человека. Из четырех канонических прошений, связанных с представлениями о праведной жизни, у Жуковского акцент сделан на последнем – молитвенном обереге от богоотступничества. Это – самый сложный в евангельском тексте просительный комплекс, вбирающий в себя двойную мотивировку искушения, которое зависит как от Бога, так и от лукавого. Жуковский усиливает противодействие мотиву искушения прошением о праведном пути. Тематические возможности переложения расширяются за счет лирического контекста. Несмотря на то, что в самой молитве нет прошения о хлебе, мотив хлеба присутствует в стихотворении и дан как отдельный лирический сюжет. Труд жнецов, которые «жнут уж целый час», и у которых «не счесть

накиданных снопов», соотносится с идеей добычания «хлеба насущного» и вознаграждения за этот труд – «Ему за труд вкусней обед».

Включаясь в богослужебный цикл, «Отче наш...» в «Утренней звезде» наделяется функцией утренней молитвы. Особенность авторской мотивировки сакрального слова связана с идеей причастности к нему всего мироздания; соборная молитва сливается с пением птиц, утренним звоном колоколов, астральным диалогом. Молитва «всем миром» и «всего мира» становится органичным явлением гармонии божественного миропорядка. В таком ракурсе образ «утренней звезды» прочитывается как метафора «света евангельского дня», восходящая к Откровению Иоанна Богослова: «Кто побеждает и соблюдает дела Мои... дам ему звезду утреннюю» (Откр. 2:26, 28).

Отметим, что процесс освоения природы молитвенного текста в творчестве Жуковского связан также с традицией толкования на «Отче наш...». Объяснения на слова Молитвы Господней появляются в контексте дерптских дневников 1814 г. («синих тетрадок») в связи с переживаниями относительно семейного будущего племянницы Александры Протасовой [10]. Следующий этап осмысления Жуковским сакрального смысла «Отче наш...» спровоцирован выходом «Выбранных мест...» Н.В. Гоголя. В письме к Гоголю «О молитве» излагается концепция «чистейшего самоотвержения» молящегося. Жуковский (к этому времени уже переводчик Библии) развивает свою философию слова, только в молитве способного вместить создание и Создателя, при этом приобщаясь к святоотеческой традиции толкования текста Священного писания. Процесс освоения природы молитвенного слова фиксирует молитвенно-исповедальную и проповедническую позицию в эстетико-духовной эволюции Жуковского.

Если Жуковский открыт для диалога с читателем в процессе освоения евангельских основ молитвенного текста, то в некоторых случаях творческий акт субъективно-личностного проникновения в природу Молитвы Господней закрыт для современников, авторы сознательно устраняются от публикации своих текстов. Известная доля самокритики была присуща В. Кюхельбекеру и А. Фету. Оба поэта признавали слабость своих переложений и не спешили знакомить их с читателем.

В.К. Кюхельбекер вступает в поэтический диалог с евангельской молитвой, находясь в одиночном заключении по делу о восстании декабристов. Стихотворение входит в дневниковую запись от 13 января 1832 г.: «Сегодня, вчера и третьего дня старался я переложить “Отче наш” и живо при этом чувствовал, что переложения (paraphrases) обыкновенно ослабляют подлинник: это вино, разведенное водою...» [11, с. 84]. В своем переложении

Кюхельбекер использует опыт псалмопевческой лирики XVIII в. Поэтический контекст становится своего рода комментарием к основным идеям христианской молитвы, придает объемность каждому смысловому центру первоисточника. При этом переложение, насыщаясь экспрессией, восклицательной интонацией и риторическими размышлениями, композиционно затягивается на 12 строф. Каноническое славословие и первые два прошения у Кюхельбекера соотносятся с ветхозаветным сюжетом творения мира:

Вселенную призвал ты в бытие.

Во всей вселенной с трепетом приятно

Да будет имя дивное твое

И всем странам, и всем народам свято [11, с. 84–85].

Масштабность пространственно-временных границ, тяготеющих к вечности и бесконечности, в божественном мироустройстве – фон «скользкой стезы» и «дома тлена» земной жизни человека. Контекстом евангельской молитвы становятся христианские понятия рая и ада. Мотив возможного райского блаженства появляется в начале стихотворения («Ты ж души взял в престол своей державы»), в то время как поэтика финала соотносится с мотивом душевного адского наказания («Но мы дотеле тьме обречены... / Доколе, злобы яростной полны, / Питаем в сердце лютый пламень ада»). Ветхозаветные и новозаветные образы и мотивы вписываются в апокалипсический сюжет Божественного *воздаянья* «По нашим помышленьям и делам». Лирическая динамика молитвенного события подчинена принципиально важным «акцентам» Священного писания (Ветхий Завет, новозаветная евангельская молитва, Апокалипсис).

Подобная тематическая организация переложения Кюхельбекера придает особую мотивацию просительной проблематике. Символика пространственного сопоставления неба и земли в стихотворении организует систему иерархических ценностей, связанных с идеей Божественной воли, которую на небесах творят духи, а на земле – люди. Поэтому просьбы, обращенные к Небесному Отцу, осознаны как диалог с Его волей. Мотив «насущенного хлеба» вводится через сознательное отсечение безотрадных забот о завтрашнем дне. Христианская идея «долга» мотивируется как всепрощение, актуализируя проблемы, восходящие к евангельскому толкованию: «Ибо, если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный; А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Матф. 6:14–15). Отстранение от христианского прощения у Кюхельбекера соотносимо с мотивами душевного ада и мести, а обретение духовной гармонии доводится до крайней формы смирения – прощения врага:

Да будет нами наш должник, наш враг

Прощен без лицемерия и лести.

Просительное слово, подчиненное Божественной воле, актуализирует внутреннюю борьбу человека в процессе осмысления его христианского смысла. Наибольшей авторской трансформации подвергается прошение об избавлении от лукавого. Кюхельбекер снимает персонифицированный аспект евангельского контекста:

И от лукавого избави нас,

И от всего строптивого и злого...

Поэтому тема лукавства получает широкое толкование, превращаясь в характеристику не только демонической, но и человеческой природы. В переложении Кюхельбекера Бог и человек в молитвенном диалоге являются активными субъектами утверждения высшей воли как в макрокосмическом масштабе, так и в сфере душевной жизни человека.

Финальное четверостишие концентрирует семантически значимые сигнализаторы конца религиозного текста. Помимо явной ориентации на евангельское славословие «ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки веков», стихотворение адаптирует молитвенную концовку «ныне и присно и во веки веков». Подобный финал становится своего рода эстетической «закрепкой» молитвенного мироустройства, воссозданного в переложении.

Стихотворение А.А. Фета «Чем доле я живу, чем больше пережил...» – один из лучших образцов переложения «Отче наш...». В письме к К.Р. (великому князю Константину Константиновичу) поэт признавался, что «однажды переложил стихами» молитву «Отче наш...», но под воздействием Владимира Соловьёва решил больше не обращаться к переложениям [12, с. 27]. По композиционному решению стихотворение Фета приближено к переложению великопостной молитвы Ефрема Сирина А.С. Пушкина «Отцы пустынники и жены непорочны...». Оба произведения представляют вариант личностного прочтения канонического текста, при котором переложению предшествуют лирические размышления о природе сакрального слова. Молитвенная ситуация у Фета становится духовным откровением с высоты пережитых лет; опыт христианской жизни, вырванный в повелительном стеснении «сердечного пыла», дает основание для общечеловеческих обобщений. В этом отношении Фету удалось органично воссоздать как соборный, так и личностный характер прочтения евангельской молитвы:

Чем доле я живу, чем больше пережил,

Чем повелительней стесняю сердца пыл, –

Тем для меня ясней, что не было от века

Слов, озаряющих светлее человека:

Всеобщий наш отец, который в небесах,

Да свято имя мы твое блюдем в сердцах,

Да придет царствие твое, да будет воля

Твоя, как в небесах, так и в земной юдоли.

Пошли и ныне хлеб обычный от трудов,
Прости нам долг, – и мы прощаем должников,
И не введи ты нас, бессильных, в искушение,
И от лукавого избави самогненья [13, с. 467].
(Между 1874 и 1886)

Духовный опыт прожитой жизни смещает акценты канонического слова; в лирическом осмыслении первоисточника центральные для субъективного прочтения понятия даны как уже свершившийся факт: «Да свято имя мы твое *блюдаем* в сердцах», «...мы *прощаем* должников», или как в очередной раз совершающийся: «Пошли *и ныне* хлеб обычный от трудов». С другой стороны, очевидно сознательное сближение стихотворного текста с оригиналом, данный прием становится духовно-эстетической доминантой. Это проявляется прежде всего в четкой композиционной концентрации стихотворения. Четыре стиха евангельского текста соответствуют 8 стихам переложения. В двух случаях тематическая композиция одной строчки у Фета полностью совпадает с тематикой стиха первоисточника. «Пошли и ныне хлеб обычный от трудов» восходит к 11-му стиху 6-й главы Евангелия от Матфея; «Прости нам долг, – и мы прощает должников» – к 12-му. Дословное введение в стихотворный мир фраз Молитвы Господней, подчинение их законам стихотворного языка – еще один способ виртуозного поэтического парафразиса. В молитвенном прошении «Да придет царствие твое, да будет воля / Твоя...» происходит вытеснение эстетической дистанции между переложением и «Отче наш...» (подобный прием, уже в усеченном виде, повторяется в 10-м и 11-м стихах стихотворения), что служит основой непосредственного диалога с христианской праосновой. Выдержанное практически на протяжении всего стихотворения эстетическое соприкосновение с первоисточником, однако, в финале входит в сферу исключительности индивидуально-личностного прочтения «Отче наш...». Последняя просьба переложения Фета прочитывается с позиции изначально заявленной ситуации повелительного смирения страстей, поэтому мотив лукавства соотносится с искушающим самогненьем, от которого стремится избавиться молящийся.

Юношеское переложение «Отче наш...» Н. Добролюбова (автору к этому времени 14 лет) относится ко времени его учебы в духовной семинарии. Это – один из эгоцентричных вариантов стихотворного переложения Молитвы Господней. Масштабность молитвенного события проецируется в сферу внутренней жизни людей, а канонические прошения о святости имени и пришествии Царствия Божьего обретают рефлексивный характер:

Небесный отец! Да святится
Твое имя в наших душах!
Да царство твое водворится
В колеблемых наших сердцах!.. [14, с. 256].

Несмотря на явную парафрастическую установку автора, переложение тяжеловесно. Смещение ударения в рифмообразующем слове первой строфы (*душах*), разговорная лексика («напитаться», «на нынешний раз») создают ощущение значительной дистанции между стихотворением и его прообразом. Кроме того, в молитвенный контекст проникает сомнение в возможности полного подчинения молящегося идее христианского прощения: «Как мы, *сколько можем*, прощаем / Долги и своих должников...» Стихотворение Добролюбова отнюдь не является событием эстетического масштаба, однако представляет интерес как факт поэтической репрезентации канонического текста. К подобного рода явлению можно отнести и нашумевшее «Отче наш» («Я слышал – в келии простой»). Стихотворение, вложенное в альбом Анны Вульф и опубликованное в конце XIX в. В.П. Острогорским под именем А.С. Пушкина, получило огромный резонанс в работах богословов и литературоведов. XX в. прошел под знаком исследовательских гипотез об авторстве текста. В дискуссию вступили П. Ефремов, Н. Сумцов, В. Каллаш, позже – Б. Бухштаб, Б. Марьянов и др. Помимо Пушкина, переложение приписывалось А. Фету, Ф. Глинке, архиепископу Антонию, П.А. Ширинскому-Шихматову [15]. Оставив в стороне спор об авторстве, остановимся подробнее на особенностях лирического осмысления молитвенной ситуации, которая представлена в своей новой эстетической вариации. В большинстве случаев переложение «Отче наш...» связано со сферой личной духовной жизни молящегося, в данном стихотворении молитвенное событие изначально дано как явление «другого» сознания. В связи с труднодоступностью этого текста приведем его полностью:

Отче наш

Я слышал – в келии простой
Старик молитвою чудесной
Молился так передо мной:
«Отец людей! Отец небесный!
Да Имя Вечное Твое
Святится нашими сердцами!
Да придет царствие Твое,
Твоя да будет Воля с нами,
Как в небесах, так на земли!
Насущный хлеб нам ниспосли
Твоею щедрою рукою; –
И как прощаем мы людей,
Так нас, ничтожных пред Тобой,
Прости, Отец, Твоих детей!
Не свергни нас во искушение
И от лукавого прельщения
Избави нас!» – Перед крестом
Так он молился. Свет лампы
Чуть-чуть мерцал издали;
И сердце чаяло отрады
От той молитвы старика [15, с. 16].

Лирический субъект со стороны наблюдает за молящимся в келии стариком и передает слова его молитвы. За подобным художественным решением – лирическая драматизация евангельского текста, предшествующего словам Молитвы Господней: «...когда молишься, войди в келью твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который в тайне» (Матф. 6:6). Художественные достоинства стихотворения снижает допущенный «сюжетный» парадокс. В начале стихотворения говорится, что старик молится «передо мной», в финале – «Перед крестом»... О том, Кто в таком случае является субъектом поэтического слова, лучше промолчать, вряд ли *это* имел в виду автор.

Специфической особенностью большинства представленных переложений (за исключением «Утренней звезды» Жуковского) является сознательное отстранение от прямого прочтения последней просьбы канонической молитвы; в русской поэтической традиции XIX в. очевидна «деперсонификация» просьбы отстранения от лукавого. Это может быть «лукавое самомнение» (А. Фет), «лукавства» (Н. Добролюбов), «лукавое прельщение» («Отче наш» неизвестного автора). Вероятно, мы имеем дело с одним из способов ментального восприятия природы канонического текста, которое проявляется в отстранении от демонического искушения, в табуировании «страшного имени». Вместо этого – преодоление греха в его внутренней или внешней ипостасях. Проблема ментальной адаптации евангельского текста в поэтической системе тем более очевидна на фоне европейских исследований молитвенных противоречий. Почти одновременно британский историк Арнольд Джозеф Тойнби и швейцарский философ и психоаналитик Карл Густав Юнг обратились к толкованию подобного явления; в центре внимания обеих оказалась

природа финального прошения: «И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого». Тойнби в работе «Противоречия в Молитве Господней» делает акцент на двойной концепции Божественной природы, в которой концентрируется понятие как о добре, так и о зле, и приходит к шокирующему выводу: «...в завершающей мольбе Молитвы Господней всемогущество Бога подтверждается открытым признанием его создателем зла» [16, с. 312]. Юнг подобное противоречие возводит к первобытному тождеству добра и зла, библейскому представлению о природе Духа [17, с. 296]. Для русского православного сознания больший интерес представляет акцентация на природе не финала, а начала «Отче наш...», в частности на понимании идеи «святости имени». Грандиозный резонанс в философской и литературной среде вызвала имяславская волна начала XX в., с которой связаны судьбы А.Ф. Лосева, отца Сергея Булгакова, отца Павла Флоренского и которая отразилась в творчестве О. Мандельштама, М. Цветаевой и многих других поэтов и писателей.

Поэтическая судьба Молитвы Господней свидетельствует об особом эстетико-религиозном характере творческого осмысления совершенства молитвенного события. Переложения русских поэтов впитывают в себя разные стороны религиозного опыта, с которым соотносится история функциональной репрезентации «Отче наш...». Лирический контекст актуализирует ветхозаветные и новозаветные идеи, принципы организации богослужебного цикла, так же как и личностное осмысление евангельского слова. В эстетическом контексте поэтический диалог XIX в. с Молитвой Господней можно определить как факт духовного самоопределения автора, выходящего за пределы рефлексивно-романтического прочтения молитвенного события и приобщающегося к христианской идее соборности.

Литература

1. Ориген. О молитве. СПб., 1992. Репринт 1897.
2. Христианство. Энциклопедический словарь: В 3 т. Т. 2. М., 1995.
3. Гавриил, архимандрит. Руководство по литургике, или наука о Православном Богослужении. М., 1998. Репринт 1886.
4. Феофан, епископ. Истолкование Молитвы Господней словами святых отцов. Victoria, Australia, 1990. Репринт 1908.
5. Добротолюбие: В 12 т. Т. 2. М., 1993.
6. Вольная русская поэзия второй половины XVIII – первой половины XIX века. Л., 1970.
7. Полонский Я.П. Полное собрание стихотворений: В 5 т. Т. 1. СПб., 1896.
8. Фофанов К.М. Стихотворения. СПб., 1889.
9. Жуковский В.А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 2. М., 2000.
10. Архив В.А. Жуковского в Рукописном отделе Института русской литературы РАН «Пушкинский Дом». Р. I. Оп. 9. № 3.
11. Кюхельбекер В.К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979.
12. Бухштаб Б.Я. Литературоведческие исследования. М., 1982.
13. Фет А.А. Стихотворения и поэмы. Л., 1986.
14. Добролюбов Н.А. Полное собрание стихотворений. Л., 1969.
15. Марьянов Б. Сорокалетняя новость // Наука и религия. 1990. № 12.
16. Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории. СПб., 1996.
17. Юнг К.Г. Душа и миф: шесть архетипов. М., 1997.